

Ю. Айхенвальд

Силуэты
русских
писателей

Москва
Издательство
"Республика"
1994

Выпуск 1



В VIII главе "Евгения Онегина" Пушкин рассказывает нам поэтическую автобиографию. Его муза как бы растет на наших глазах; все глубже и многообразнее раскрывается его неиссякаемая душа. В студенческой келье, в садах Лицея слагает она, эта ранняя муза, божественная гостья, свои первые стихи; ее с Пушкиным слушают благосклонно, восхищенно, — и вот

Старик Державин нас заметил
И, в гроб сходя, благословил.

Так символична знаменитая сцена на лицейском экзамене, исторический момент, перевал на дороге русской литературы; и, олицетворение XVIII века, старик, благословляющий кудрявого мальчика, юного орленка, это — самую жизнью поставленный апофеоз, торжественная смена столетий. Потом, спутница кипучей молодости, муза принимает образ вакханки; ласковая дева, она провожает своего поэта в ссылку и волшебством только для него вятного, для других тайного рассказа услаждает ему, невидимка, путь немой, путь одинокий; романтической Ленорой при свете луны она скачет с ним на коне по скалам Кавказа или, уже религиозная, водит его на берега Тавриды слушать вечную молитву моря, таинственный хор валов, хвалебный гимн Отцу миров; муза-дикарка, муза-степнячка, Земфира, она в глуши Молдавии печальной бродит с цыганами; при новой перемене жизненных декораций — "дунул ветер, грянул гром" — является она барышней уездной — прекрасная Татьяна с печальной думою в очах, с французской книжкою в руках; и она же — на светском рауте, муза-аристократка, княгиня прирожденная.

Так разнообразны перевоплощения всепоэта Пушкина.

И нельзя охарактеризовать его лучше, чем это сделал он сам, хотя не имея в виду только себя, в известном стихотворении "Эхо":

Ревет ли зверь в лесу глухом,
Трубит ли рог, гремит ли гром,
Поет ли дева за холмом —
На всякий звук
Свой отклик в воздухе пустом
Родишь ты вдруг.

Ты внемлешь грохоту громов
И гласу бури и валов,
И крику сельских пастухов —
И шлешь ответ;
Тебе ж нет отзыва... Таков
И ты, поэт!

В самом деле, он — эхо мира, послушное и певучее эхо, которое несется из края в край, чтобы страстно откликнуться на все, чтобы не дать бесследно замереть ни одному достойному звуку вселенской жизни. В этой отзывчивости, в этом даре полногласных ответов на все живые голоса есть нечто по преимуществу человеческое, так как никто не должен ограничиваться определенной сферой впечатлений и мир для всякого должен существовать весь.

Вот отчего Пушкин творя претворял; он перенимал, он многому подражал — даже другим поэтам, обливался слезами над чужим вымыслом; ведь и чужое художественное создание уже само становится природой, чем-то первоначальным, и возвращается, входит в общую совокупность явлений, так что и оно родит свой отклик в воздухе пустом. Пушкин вообще не высказывал каких-нибудь первых, оригинальных и паразитических мыслей; он больше отзывался, чем звал. Это именно потому, что он был истинный поэт. То, что был он очень умен и образован, вся эта сокровищница, которая могла бы составить счастье и богатство другого, — все это для него составляло только придаток; все это драгоценное было у него лишь чем-то второстепенным и не проникало в самую суть его творчества, не определяло его. Свободный духом, царственно-беспечный, он, как художник, не обнаруживал и следа интеллектуализма — поэт "глуповатой" поэзии. Не промежуточная работа мысли и даже, с другой стороны, не наитие внезапных чисто умственных откровений создавали его силу, а непосредственная интуиция, вдохновенное постижение прекрасной сущности предметов — догадка красоты. И в его собственной душе жило так необъятно много этой красоты, что она могла находить себе утolenie, созвучие, внутреннюю рифму только во всем разнообразии природы и во всей беспредельности человеческого бытия. Всеотзывная личность его была похожа на многострунный инструмент, и мир играл на этой Эоловой арфе, извлекая из нее дивные песни. Великий Пан поэзии, он чутко слышал небо, землю, биение сердец — и за это мы теперь слушаем его.

Но быть эхом вселенной не есть нечто пассивное и механическое: для того чтобы ответить, надобно услышать. И в этом послушании миру сказывается глубокое мировоззрение, происходит свободный выбор. Ведь Пушкин воспроизводил не то, что рассеивается во времени и пространстве, обреченное забвению, как шум печальный волны, плеснувшей в берег дальний: нет, он в силу художественного инстинкта, не задумываясь, отметал все случайное и брэнное, он сразу улавливал самую основу и очарование действительности, вечное зерно преходящих явлений и вещей. Он пел для забавы, без дальних умыслов, но в результате возникала глубина и серьезность. То, что он повторил, что навеки удержал из текучей хаотичности жизненного гула, — это именно и есть то, что заслуживает бессмертия; как раз это и должно было остаться на свете, как раз эти чистые отклики и образуют мысль и музыку мира.

Эхо души и деяний, внутренних и внешних событий, прошлого и настоящего, Пушкин в своей отзывчивости как бы теряет собственное лицо. Но божество тоже не имеет лица. Определенные черты, физиономия присущи только тому, что ограничено, — их не знает мироздание как целое. И Пушкин, растворяясь в звуках, воспроизводящих все, отвечающих всему, именно в этом и находит самого себя, свой великий микрокосм.

От шалости до молитвы, от шутки и до гимна — в этом протекает жизнь, и это звучит в поэзии Пушкина. Она совершила весь человеческий цикл и развернула живой свиток естественной личности, которая дышит всюю полнотою и силой жизненного дыхания. Перед нами не скучная тишина бесстрастия и равнодушия к жгучим приманкам земли, не срединная натура, спокойная в своей бесцветной безгрешности: напротив, мы видим, как бьется и трепещет в соблазнах горячая молодость, пенится вино на играх Вакха и Киприды; мы слышим изнеженные звуки безумства, лени и страстей; "под небом

Африки моей” кипят волнующие желания чувственной природы, — и все это кончается Мадонной, чистойшей прелестю чистойшим образцом. И гимны важные, внушенные богами, и песни мирные фригийских пастухов, Апулей и отцы-пустынники и жены непорочны, стихия языческая и стихия христианская, все типы мироощущений, свет и тени разнообразных чувств и помыслов — все это нашло себе у него симпатический отзвук — гремучий непрерывный звон его неумолкнувшей лиры.

Сторукий богатырь духа, Пушкин в своем пламенном любопытстве, полный звуков и смятения, объемлет все, всех видит и слышит, каждому отвечает. Он сам сказал, что душа неразделима и вечна, и он оправдал это на себе. Ему — дело до всего. Как бы не зная границ и пределов, не ощущая далекого и прошлого, вечно настоящий, всюду сущий, всегда и всем современный, он в этой сверхпространственности и сверхвременности переносится из страны в страну, из века в век, и нет для него ничего иноземного и чужого. Овидий жил и страдал давно, но Пушкин переживает с ним эти страдания теперь, и воскрешает в себе его тоскующий образ, и через вереницу столетий шлет ему свой братский привет. Та панорама жизни, которая так ярко и пышно разворачивается перед нами в несравненном послании к Юсупову, вся прошла в фантазии поэта, и еще с гораздо большей разнообразностью картин и красок; и то, чего не доставало Пушкину во внешних восприятиях — он, себе на горе, не видал чужих краев, где небо блещет неизъяснимой синевой, он не видел Бренты и адриатических волн, — все это восполнял он сказочною силой внутреннего зрения и в самом себе пережил эпохи и страны, многие культуры, и Трианон, и революцию, и рассказы Бомарше, и всю превратность человеческих судеб. Он претворил Ариосто в сказку, где русский дух, где Русью пахнет; он передумал Коран, и русские слова, в которые он воплотил его, зазвучали какою-то восточною мелодией и восточной философией, окрасились в колорит мечети и муэдзина; он перечувствовал Шекспира и Гёте, посетил в идеальном путешествии своих творческих снов Европу и Восток, понял Дон Жуана, и Скупого рыцаря, и другого, бедного рыцаря, который имел одно виденье, непостижное уму, — понял и зависть Сальери, и царицу Клеопатру, и вещего Олега, и мудрого Пимена, чей облик воссиял ему из тьмы времен. Для него были близки и понятны и Анакреон, и Песня Песней, и песни Шенье, которого Муза проводила до гильотины, и Хафиз, и Гораций, и все, что когда-либо волновало и восхищало людей.

Эта победа над ограничениями, какие полагает человеку скромная доля отмеренных людских сил, определенная вместимость индивидуальной, даже одаренной души, это поэтическое вездесущие не есть, конечно, только богатство тем и сюжетов, давно и всеми отмечаемое у Пушкина, это не простая внешняя виртуозность и гибкость писательской техники, и это даже не только могучие крылья удивительного таланта, не слабеющие в самых дальних полетах: это — проявление *единства жизни*, которое носил в себе Пушкин и которое делало законной и исполнимой его смелую мольбу — скрыться в воздушный ковчег, туда, в соседство Бога; это — внутренняя, органическая приобщенность ко всякой психологии, это — симпатия к Божьему миру. В самых разнообразных сферах, под оболочками чуждых народностей и речей, на протяжении многих времен, всегда и везде, сочувственно и глубоко узнает Пушкин единое всечеловеческое сердце и нераздельно переживает его радости и печали, как Махадева, который принимает облик человека, для того чтобы самому испытать многообразный опыт людей. Как замечает Шпенгауэр, повторяя индусскую мудрость, — эгоист всему внешнему для своей личности, всему, что не он, брезгливо говорит: *это не я, это не я*; тот же, кто сострадает, во всей природе слышит тысячекратный призыв: *Tat twam asi — это ты, это тоже ты*. Из произведений Пушкина звучит нам именно последний клич; благодаря Пушкину, мы и сами отзываемся приветным отзывом на всякое дыхание — особенно, разумеется, на все человеческое. Его эстетический универсализм — в то же время и величайшая этика. К центру его духа протянулись живые нити от всего живущего.

Он поведет нас, например, под изданные шатры цыган и научит нас, что и там живут мучительные сны, и там горят роковые страсти; он противопоставит грандиозной объективности государственного дела субъективное горе бесхитростной души и около памятника Петра Великого заметит, едва ли не первый в русской литературе, маленькую фигуру бедного чиновника, которого счастье, и скромный роман, и самую жизнь задавило тяжело-звонкое скаканье Медного Всадника; и он отнесется к этому чиновнику, как старший и умный брат, но

просто, без горькой насмешливости Гоголя, подаст ему только чистый хлеб сострадания, и разделит с ним его тоску в страшную ночь наводнения, и пожелает вместе с ним, чтобы ветер выл не так уныло и чтобы дождь стучал в окно не так сердито; он в пустыне чахлой и скупой (нет существа скулее ничего не дающей пустыни) увидит человека, которого человек послал к Анчару даже не словом, а только властным взглядом, — но в неумолимых и потрясающих словах стихотворения, посвященного отравленному рабу, покажет нам и мрачную трагедию самого Анчара, которого природа жаждущих степей породила в день гнева и который стоит теперь в угрюмом одиночестве, один во всей вселенной, и плачет ядовитыми слезами: никто не приближается к нему, и ядом своим он прежде всего отравляет самого себя. Так занимают Пушкина и элементарные и тонкие драмы. В волнениях мировых событий не пройдут для него незамеченно те, чья личная судьба сочетается с ходом всенародных судеб; от него не будет скрыта ни участь Марии, которая изнывает в гареме хана, ни участь Марии, красы черкасских дочерей, которая свою тихую жизнь разбила о тревогу северной державы, — и нежные страдания сердца вплетает он в суровую ткань истории.

Для него нет в мире никого и ничего безусловно-презренного и ничтожного, ни одного безразличного существа, от которого можно было бы равнодушно отвернуться. Всё на свете важно, все на свете важны. Подобно тому как он замечает прозаические бредни повседневности, фламандской школы пестрый сор, и поэтизирует все, к чему ни прикасается, так и в людях благодатной прозорливостью ума и сердца всегда находит он что-нибудь светлое — несомненно, потому, что сообщает им внутренний свет и тепло своей собственной души. В "Домике в Коломне" Пушкин рассказывает про молодую богатую графиню, которая

Входила в церковь с шумом, величаво;
Молилась гордо (где была горда!).

Графиня же была погружена
В самой себе, в волшебстве моды новой,
В своей красе, надменной и суровой.

Она казалась хладный идеал
Тщеславия. Его б вы в ней узнали;
*Но сквозь надменность эту я читал
Иную повесть: долгие печали,
Смиренье жалоб... В них-то я вникал,
Невольный взор они-то привлекали...*

У него царит приветливое отношение к людям, чудная внимательность к ним, — все равно, будет ли это Наполеон со своими мощными замыслами или хлопотливая старушка Ларина, будут ли это братья-разбойники или дядька Савельич из "Капитанской дочки", барышня ли крестьянка или задумчивая Мери, одна из сестер печали и позора, которая поет на пиру во время чумы. Он осуществил поэтическое равенство, у него нет иерархии людей, он не признает местничества. Его нежная любовь к подруге дней его суровых, дряхлой голубке-няне, чья память близка всей России, потому что она, добрая подружка, холила его жизнь и рассказала гениальному мальчику русские сказки, которые он впоследствии так поэтично повторил, — эта благодарность питомца, теплою волною пробегающая по его произведениям, — тоже лишь частичное проявление пушкинской ласки и поклона всему, что есть на свете доброго и душевного, что спасает от житейского холода и нравственного одиночества.

Да, в моральном строе Пушкина любовь занимает первенствующее место, но любовь — без сентиментальности, стройно соединенная с его изумительной духовной свободой и с той непринужденностью юмора и поэтического легкомыслия, которая составляет колорит и тон многих его произведений. Однако не скрывает юмор, что сердце его горит и любит — оттого что не любить оно не может. Пушкин — эхо, не только верное миру, не только правдивое и честное, но и эхо любящее. Его ответ — его привет. То, что он услышал и воспроизвел, вызвало в нем просветленную любовь к жизни и благоволение к людям.

Это не значит, разумеется, чтобы у него не было насмешки, даже злой и неприятной эпиграммы, не всегда великодушной шутки: для этого он слишком человек и слишком естественна его поэзия; отсутствие холодной безукоризненности составляет одну из привлекательных черт его и ее. Это не значит и то, чтобы он не испытывал гнева и скорби, чтобы он робко и покорно воспринимал зло и несчастье: мы все помним его печаль, раскаты его поэтического негодования и это у него страдалец возносит к Богу святую месть. Но его

Немезида не отталкивает от себя, и нелюбимый суд ее справедлив, а печаль его светла. Пушкин часто говорил о жалком роде людей, достойном слез и смеха, о тупой черни, и он сказал эти горькие слова: кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей; но презрение к пошлости толпы не заглушает его любви к человечеству. Частные недостатки не затемняют перед ним общего величия мировой драмы и ее участников — этих бедных "чад праха". Он их не проклинает, как порою Байрон, не издевается над ними. Они искажают свою природу, когда их соединяет в одно неразумное и слепое целое общность предрассудков и мелочных забот, когда они образуют затягивающий омут, который опасен для всякого и в котором все могут ожесточиться и очерстветь, превратиться в мертвые души; но каждая из этих человеческих единиц сама по себе способна к добру. Человек лучше людей. Ошибки и заблуждения современности, осуждающей своих непонятых героев, своих Барклаев де Толли, исправит поэт, который заступится за них, и вообще нельзя отвергнуть мира, доколь в подлунном мире жив будет хоть один пиит, т. е. хотя бы одна организация, воспринимающая красоту и добро. И на человечество, как на единый нравственный организм, не ложится пятно позора. Поэтому, несмотря на все мгновенные вспышки укоризны и горечи, у Пушкина незыблема вера в людей, и нет для него сомнения в их исконно доброй природе. Поэтому духовный аристократизм соединяется у него с глубокой нравственной доступностью, и, кроме счастья — роптанью не внимать толпы непросвещенной, он знает радость — учаством отвечать застенчивой мольбе.

Эти гордые советы царственного одиночества: живи один, останься тверд, спокоен и утром, ты сам свой высший суд, обиды не страшись, не требуй и венца, не делись с толпой пламенным восторгом, — они относятся не только к поэту, но и ко всякому человеку; однако вовсе не славят они холода и надменности, а представляют собою великие заповеди бескорыстия, восхваление душевного мира, доверие к его непогрешимому суду, который возвышается над изменчивыми приговорами внешней среды. Пушкин мог бы постоянно жить один, в самом себе, питать в своей душе долгие думы, усовершенствовать плоды любимых дум, пленник духовного Ватикана, — так обширен и обилен был его внутренний дом. И на вопрос, зародившийся в горечи разочарования: кого ж любить? кому же верить? кто не изменит нам один? — он не только с оттенком печальной иронии, но и серьезно мог бы ответить: любите самого себя. Это потому, что он верил в свои нравственные силы, себя уважал. И это находится в неизбежной связи с тем важнейшим фактом человеческой и поэтической биографии Пушкина, что всегда он был самим собою. Такой подражающий, он в то же время ни для кого не был внушаем — даже для самого себя; даже себя он себе не поработал, и никто и ничто его не гипнотизировали. Он не настроил себя намеренно на лад печали, когда из равнодушных уст равнодушно внимал вести о смерти когда-то любимой женщины. Или — другой пример — он поверил Овидию и подготовил себя к тому, чтобы в стране его изгнания увидеть пустыню мрачную, туманы, снега, нивы без теней, холмы без винограда; но взор изменил обманутым мечтаньям — и что же? — поэт, искренний, свободный, честный, сознался:

Изгнание твое пленило втайне очи,
Привыкшие к снегам утрюмой полуночи, —

и во имя правды легко расстался с подготовленным и ожидавшимся настроением; от этого не исчезла поэзия и красота, потому что она для Пушкина была повсюду. Вообще, Пушкин никогда не насилдовал своей души. И поразительно, до какой степени это мировое эхо было вместе с тем независимо, до какой степени этот всеподражатель был самостоятелен. Он соединял послушность с инициативой, повторение — с почином.

Но его независимость и ощущение духовной царственности бесконечно далеки от мизантропии; одиночество не есть нелюбимство, и строгость душевного уединения, высшая самобытность, гармонично разрешается для дружбы, которая и в жизни, и в творениях Пушкина, прирожденного друга и брата, нашла себе такое светлое воплощение. Как любил он беседу сладкую друзей! "Врагов имеет в мире всяк, но от друзей избавь нас, Боже!" — это горькая шутка и осадок разочарования после дружбы, которая заплатила обидой; но правда, но вечное желание Пушкина — это "печален я: со мною друга нет", это бессмертное создание патетической дружбы, невыразимо проникновенные строфы 19 октября, когда роняет лес багряный свой убор, это возлюбленные образы Дельвига

и Пущина, горячие послания и призывы к товарищам, с которыми он хотел бы говорить о бурных днях Кавказа, о Шиллере, о славе, о любви. В минуты вдохновения он стремится на берега пустынных волн, ему необходима деревенская тишина, где звучнее голос лирный и где творческие думы в душевной зреют глубине; но и для людей раскрыто его сердце, и их принимает он радостно и охотно, и сам чувствует потребность предаться друзьям с печальной и мятежной мольбою. Он может, но не хочет быть один ни в жизни, ни в смерти. Никто так не ценит человека, никто так полно, отрадно и признательно не ощущает его желанного присутствия, как Пушкин: даже свой могильный сон мечтает он окружить игрою чужой молодости. Всякая молодость — его. Он дышит юностью и красотой. Человеческое, и в особенности женское, является для него расцветом вселенной:

Прекрасно море в бурной мгле,
И небо в блесках, без лазури,
Но верь мне: дева на скале
Прекрасней волн, небес и бури.

Природа занимала в его душе только определенное место, не заполняла ее, и от природы, красотам которой он дивился, он опять приходил к человеку, к деве на скале. Мир для него не пейзаж.

И эта дева, эта женщина, нашла себе в нем певца очарованного и чарующего. Она будила в нем не только страсть, но и умиление; она являлась ему как мимолетное виденье, как гений чистой красоты, и, например, сколько чистого и хорошего чувства к девушке сказывается у него в образе Маши Мироновой или Маши Троекуровой! Над грешными песнями "страдальца чувственной любви", над его страстными стихами, возвышается единый образ прекрасной женственности и та вечная Невеста его, та неведомая и недосягаемая, которую он любил. У него было много условных встреч в садах, в безмолвии ночей, и так знал он ласки легковерных дев, и слезы их, и поздний ропот, — но он клял эти "коварные старанья" своей преступной юности, ему был стыдно идолов своих, потому что истинная душа его была целомудренна, единобожна и хотела не множества картин.

Среди людей особенно привлекают Пушкина ясные, добрые, бесхитростные души, незаметные герои и героини, капитан Миронов и его дочь. Они служат для него оправданием его веры в благой смысл жизни, к которой он вообще прилагает мерило не красоты, а добра, — или, лучше сказать, прекрасное и доброе имеют для него один общий корень. Благоговей богомольно перед святыней красоты, он видит в ней и добро; он не только не различает их в мнимом и поверхностном расколе, но своей поэзией еще углубил их связь. Не военные подвиги, не слава бесчисленных побед, а то, что полководец хладно руку жмет чуме, — это заставило его ценить возвышающий обман дороже тьмы низких истин. Вещий, глубокий обман идеала и есть для него настоящая реальность, настоящая правда и красота. Идеал действительно факта.

Идеальное начало проявляется всякий раз, когда празднует свою великую победу нравственная сила жизни. Это не сразу замечаешь, и все-таки это несомненно, что Пушкин, которому "праздномыслить было отрада", Пушкин, любовник лени, часто поющий ее, свободный из свободных, играющий, полный душевной грации, тем не менее придал своей поэзии высокий этический дух. Он — певец самоотвержения, долга, совести; в упоительные звуки своих песен влил он содержание моральное и только освободил его от угрюмой тяжести принуждения и проклятия. Он сочетал свободу с уважительным признанием каких-то догматов, светлых догматов жизни; он именно "свободною душой закон боготворил" — поднялся над антиномией свободы и закона. Нравственная мысль выступает у него, величественная, могущественная — и простая. Она сближает категорический императив Канта с непринужденной игрою Шиллера, с его культом "красивой души". Она делает героическим пленительный образ Татьяны и в то же время не заглушает в ней живой природы: строгое веление долга чудно примиряется с нежностью любовного признания и сладостной мечты о тех местах, "где в первый раз, Онегин, видела я вас"; высокий образец моральной обязанности, Татьяна вместе с тем не воплощение добродетели: она — прежняя бедная Таня, которая плачет и тоскует в лунную ночь

и поверяет свою первую и последнюю девичью тайну: "я не больна, я... знаешь, няня, влюблена". И неожиданно оказывается таким образом, что, во имя долга и религии отрешаясь от счастья, Татьяна сделала это, не нарушив своей природы, и точно сестрою приходит она Дон Жуану, безбожному повесе: сближает, роднит их именно общность духовной свободы, великая естественность. Как раз она, эта стихийность поступков, освобождает пушкинских героев долга от морального ригоризма, который сушит сердце и обращает людей в холодные мраморные изваяния. "Грех алчный гонится за мною по пятам" — это всякий может сказать о себе. И кого настигнет грех, тот изнемогает от угрызений совести. Замечательно, что ей Пушкин посвятил особенно много внимания, много незабвенных стихов. Совесть стучится у него под окном у крестьянина, который не похоронил утопленника; она в черный день просыпается у разбойников; докучный собеседник, она когтистыми зверем терзает Скупого рыцаря и окровавленной тенью Ленского стоит перед Онегиным; в тихую украинскую ночь обвинительными очами звезд смотрит она в сумрачные помыслы Мазепы; жалобной песней русалки, бредом сумасшедшего мельника она тревожит изменническое сердце князя; тяжелыми стопами Каменного гостя проходит она в греховную душу Дон Жуана и в звуках моцартовского Requiem'a волеется в черную душу отравителя Сальери. Не самозванец, а совесть Годунова облеклась в страшное имя царевича Димитрия, и вся жизненная драма Бориса зиждется на этой потрясенной совести, которая молотком стучит в ушах упреком и наливает сердце адом. Ничто не может нас среди мирских печалей успокоить, ничто, ничто... едина разве совесть — это глубокое откровение жизненной правды, выраженное в светлых образах искусства, составляет один из главных моментов пушкинского мирозерцания.

Совесть восстанавливает для поэта нарушенную цельность мирового добра. Всякое преступление и несчастье, всякое зло разрывает жизненную ткань, образует какое-то злое и темное зияние, которого не может переносить дивная гармоничность Пушкина. Ему необходимо аккордом примирения, песнью Орфея, снова слить разьединенные элементы мира, замкнуть кольцо жизни, дать ответ на нравственное недоумение. Отсюда — известная черта его элегий, которые не тонут в беспросветной тоске, а завершаются любовью и надеждой. Отсюда — его глубокие упования, его религия добра. Отсюда — его мужество перед страданием, которое не пугает его, потому что он и жить для того хочет, чтобы мыслить и страдать. Мысль и прощальная улыбка любви, последние лучи ее заходящего солнца, примиряют его с печалью заката и унынием пути. Назло действительности он верит в добро. Как Петр Великий мирится с побежденным врагом, так светлое сердце Пушкина мирится с жизнью. Ему желанны все мотивы искупления, ему нужно оправдать человечество. И вот, Наполеон искупил для него свои

стяжанья
И зло воинственных чудес
Тоскою душного изгнанья
Под сенью чуждою небес, —

и к дочери грозного и преступного Карагеоргия обращает он слова утешения и привета:

Но ты, прекрасная, ты бурный век отца
Смирненной жизнью пред небом искупила.

Ему отраднo, что дочь станционного зрителя, которая так виновата была перед стариком-отцом, издалека приехала на бедное кладбище, где он уснул, и легла у его могилы и горько плакала в тоске и покаянии. Маша Троекурова отучила от мести Дубровского. Пугачев имеет в себе черты великодушия и благородства. Всюду сомкнется жизненное зияние, где только заблещет луч добра. И даже смерть теряет свой мрачный облик: там, где неба своды сияют в блеске голубом, исчезла в урне гробовой краса любимой женщины, но не исчезнет обещанный поцелуй свидания. Бессмертна любовь; но если так, что же остается для смерти?

От этих утешений не слабеет сердечная боль, и чаша горя испивается вся до дна. Пушкин не отказывается от скорби, он раскрывает для нее свою глубокую, свою требовательную, а не легко удовлетворимую душу; он мучительно воспримет и перестрадает свое и чужое горе, — но потом оно разрешится у него в хрустальную печаль и не разобьет его целомудренного мировоззрения. Много скорби и горечи, много тоски и негодования прошло через его душу, но в ней, благородной, очистились они, как и все другие испытанные им волнения, от смущающей примеси минуты и переработались в радужный кристалл типичных человеческих чувств. И возвышается среди них чувство живой и непосредственной уверенности в том, что при всей силе мирового несчастья все-таки первое и выше в мире — добро. Для поэта сквозь "жизни мышью беготню" никогда не заглушается общий строй и смысл бытия, и он прозревает в нем какое-то непоколебимое благо.

Это тем поразительнее, что и отозвался Пушкин на все людское страдание, и, кроме того, сам, в своей личной жизни, не только испытал обычные человеческие невзгоды, но мучительно пережил еще и специфическое горе от ума, обиду и трагедию гения. Великий среди малых, естественный среди притворных, он должен был отстаивать свою гениальность, бороться за каждый полет своего духа. Тяжелые гири чужой глупости и злобы ложились на его крылья. И золотые плоды вдохновенья, творческие мысли и слова, которые надо было бы принимать из его уст благоговейно и молитвенно, как Евангелие красоты, он вынужден был отдавать на суд чиновников и жандарма — суд невежественный, мелкий, условный, и равнодушные руки святотатственно касались его драгоценных строк, искажали и заглушали его великие стихи...

Но, перенося жестокою насмешку судьбы, драму одиночества, Пушкин все же остается благоволящим, и жизнерадостным, и благодарным; присущее ему чувство признательности он распространяет на всю жизнь вообще. Настал для него полдень, уходит от него легкая юность, но он дружелюбно прощается с нею и благодарит ее за наслажденья, за грусть, за милые мученья, за шум, за бури, за пиры — за все ее дары. Он вполне наслаждался ею и с ясною душою пускается в новый путь. Эта ясность не возмутится и в будущем. Он знает, что благо и зло перемешаны, и прав для него судьбы закон, и поэтому он не сетует ни на что. Он только благословляет. Он только принимает. Ему дороги настоящие дары жизни, а что было, то не будет вновь.

Все благо: бдения и сна
Приходит час определенный;
Благословен и день забот,
Благословен и тьмы приход.

Он любит природу не только в ее лето, в ее праздник: верный друг, Пушкин ее не покинет и в ее черные дни — навестит поля пустые, леса, недавно столь густые. Ему цветы осенние милей роскошных первенцев полей, разлуки час отрадней самого свиданья, и он любит унылую пору осени, очей очарованье. Тогда нет уже роз, но так как в мире все прекрасно, все благо и хочется благодарно пить каждое мгновенье, то он не станет жалеть о них, увядших с легкой весной:

Мне мил и виноград на лозах,
В кистях созревший под горой,
Краса моей долины злачной,

Отрада осени златой,
Продолговатый и прозрачный,
Как персты девы молодой.

Падет ли он, стрелой пронзенный, иль мимо пролетит она, — он идет навстречу обем возможностям: и смерти, и жизни. Перед певцом во мгле сокрылся мир земной, но зато мгновенно проснулся его гений,

На все минувшее воззрел,
И в хоре светлых привидений
Он песни дивные запел.

Наши внуки в добрый час из мира вытеснят и нас, но от этого не перестанут зреть поколенья на жизненных браздах. Никогда уже родные сосны не будут встречать поэта шумом своих вершин, не он увидит их могучий поздний возраст, — но зато его внук, веселых и приятных мыслей поля, пройдет мимо них во мраке ночи и вспомнит о нем. Мы выпустили птичку на волю, — зачем же роптать на Бога, когда мы можем даровать свободу хотя бы одному творению?

Наставникам, хранившим юность нашу,
 Всем честью — и мертвым, и живым, —
 К устам подъяв признательную чашу,
Не помня зла, за благо воздадим.

Так Пушкин, не злопамятный к жизни, воздаст ей за благо. Не только в страдающую и бурную душу Грозного, не только в озлобленную душу Мицкевича, но и в каждое человеческое существо призывает он мир и успокоение. Просветленный, благосклонный, самый благодарный из поэтов и людей, он приветствует жизнь.

Этот неизменный и глубокий оптимизм, это неодолимое чувство добра, идущее за грань каждой тягостной минуты, дышит почти на всех страницах Пушкина, и его произведения — художественное оправдание Творца, поэтическая Теодицея, могучая вдохновенностью своего непосредственного порыва и всем обаянием бессмертного пушкинского слова. И в этой Теодицее сам Пушкин со своими стихами является лучшим и убедительнейшим доказательством. Его поэзия — отзыв человека на создание Бога. Вот сотворен мир, и Творец спросил о нем человечество, и Пушкин ответил на космический вопрос, на дело Божьих рук, — ответил признанием и восторженной хвалой, воспел "хвалебный мир Отцу миров". Он понял, он принял, он оценил.

Пушкин воплотил в своем поэтическом слове мировую гармонию, и, хотя в нем, страстном поэте, было так много непосредственной жизни и любопытства к ней, что жизни он мог бы отдаться беззаветно, он все-таки захотел еще ее оправдать и вместе с нею оправдать свое собственное дыхание. Он это осуществил. Кроме того, он словом отозвался на самого себя, на свою жизнь. И от этого она ничего не потеряла в своей действительности. Он не только жил, но и писал; однако от того, что свои труды и дни перевел он на язык искусства и следами слова навеки запечатлел свои дела, не исчезла их живая подлинность и книга не заслонила его самого, биография не исказила жизни. Он вообще на своем примере показал, что стихи как-то вошли в совокупность мира, не лишны для последнего, не чужды ему: стихи претворились в стихию. Наконец, он принял не только мир, но и самого себя — а это, быть может, труднее всего. "Безумный расточитель", он знал муки воспоминания, горькими слезами обливал печальные строки в его длинном, ничего не зачеркивающим свитке, чувствовал "змеи сердечной угрызенья", — но все же, как это показывает и психологический фон его произведений, он преодолел свою рефлексию и свое раскаяние и с собою примирился, согласился, взял себя целиком. Он прошел по жизни честный, не стыдящийся и довольный.

В его признательном отношении к действительности совсем не кроются, однако, ни резигнация, ни отказ от жизненной борьбы, ни смиренная покорность чьей-нибудь слепой воле. Все дело в том, что мировая воля для него не слепа; он верит в ее разумный смысл и великую силу ее любви. Поэтому и воцаряется ясный покой в его солнечной душе. Она не мятется. Но это не значит, чтобы ей чужды были глубокие человеческие тревоги: только она их уже пережила, их преодолела и теперь смотрит на землю, как Мицкевич на жизнь, — с высоты. Уравновешенность обыкновенно соединяется с умеренностью, а Пушкин был неудержим, и гармония его была не тиха, а страдна. Не равновесие и самодовольство поверхностной природы, не равнодушие и бедность впечатлений — эта пушкинская ясность. Она явилась после грозных волнений и нравственных бурь. Спокойный и светлый, но никогда не затихающий, он в своей внутренней истории знал и оргазм, опьянение духа, Египетские ночи, он тайную прелесть находил и в самом ужасе, испытал все противоречия природы и отозвался на беззаконные кометы в кругу расчисленном светил. Можно ясно проследить, как в нашей литературе из его гармонии вышли, например,

диссонирующие звуки Некрасова. В самом деле, если не вся некрасовская поэзия, то ее значительная и наиболее характерная доля, ее настроения и даже ее слова, заключены уже в стихотворении Пушкина "Шалость", где поэт жалуется на "проклятую хандру" и где так заканчивается печальная русская картина:

...На дворе живой собаки нет.
Вот, правда, мужичок; за ним две бабы вслед;
Без шапки он; несет под мышкой гроб ребенка
И кличет издали ленивого попенка,
Чтоб тот отца позвал да церковь отворил;
Скорей, ждять некогда, давно б уж схоронил.

Или предтеча того же Некрасова, певца петербургских кладбищ, с его разорванностью между городом и деревней, явственно слышится в этих удивительных стихах:

Когда за городом задумчив я брожу
И на публичное кладбище захожу,
Решетки, столбики, нарядные гробницы,
Под коими гниют все мертвецы столицы,
В болоте кое-как стесненные кругом,
Как гости жадные за нишенским столом,
Купцов, чиновников усопших мавзолей.
(Дешевого резца нелепые затеи!)
Над ними надписи и в прозе, и в стихах
О добродетелях, о службе, о чинах;
По старом рогаче вдовицы плач амурный;
Ворами от столбов отвинченные урны,
Могилы склизкие, зевающие тут,
Которые жильцов к себе на утро ждут, —
Такие смутные мне мысли все наводит,
Что злое на меня уныние находит:
Хоть плюнуть да бежать.

Но как же лобо мне
Осеннею порой, в вечерней тишине,
В деревне посещать кладбище родовое,
Где дремлют мертвые в торжественном покое.
Там неукрашенным могилам есть простор;
К ним ночью темною не лезет бледный вор;
Близ камней вековых, покрытых желтым мохом,
Проходит селянин с молитвой и со вздохом;
Наместо праздных урн и мелких пирамид,
Безносых гениев, растрепанных харит,
Стоит широкий дуб над важными гробами,
Колелясь и шумя...

Можно ли в картинах смерти выразительнее описать две жизни в их противоположности — городскую и деревенскую? И можно ли в два слова больше содержания, больше уничтожающей сатиры вложить, чем это сделано в противоречивом сопоставлении: "мелкие пирамиды"? И бледное лицо вора в темной раме ночи, около склизких, зевающих могил, крадущегося за безносыми гениями и растрепанными харитами, — не есть ли это тот самый кошмар города и та бодлеровская черная поэзия безобразия, которые занимают современное утонченное искусство, по-видимому так далеко ушедшее от Пушкина, а на самом деле им пережитое?

Или — другой диссонанс. Всегда совершается пир во время чумы, всегда одновременно кто-нибудь пирует и кто-нибудь умирает ("эта черная телега имеет право всюду разезжать"); и на одном из таких празднеств, окаймленных черной смертью, Пушкин над

нею смеется, дерзновенно славит царствие чумы и раскрывает экстаические глубины обезумевшего сердца:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы!

Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!
И счастлив тот, кто средь волнения
Их обрести и ведать мог.

Наслаждение в гибели, благодатный яд вина, дыхание девы-розы, быть может полное чумы, и здесь же рядом, на краю этой беззаконной бездны, "бездны мрачной на краю", — тихая, как свирель, простая, как василек, протяжная и унылая песня Мери. Демонизм утонченного Вальсингама и здесь же — вся сплетенная из элементарных, непосредственных ощущений грустная жалоба и мольба девичьего сердца, обвеянная деревенской тишиной и наивностью. И какие звуки!

Было время, процветала
В мире наша сторона:
В воскресение бывала
Церковь Божия полна;
Наших деток в шумной школе
Раздавались голоса,
И сверкали в светлом поле
Серп и быстрая коса.

Поминутно места надо,
И могилы меж собой,
Как испуганное стадо,
Жмутся тесной чередой.

Ныне церковь опустела;
Школа глухо заперта;
Нива празднично перезрела,
Роща темная пуста,
И селенье, как жилище
Погорелое стоит;
Тихо все — одно кладбище
Не пустеет, не молчит.

Если ранняя могила
Суждена моей весне —
Ты, кого я так любила,
Чья любовь отрада мне,
Я молю: не приближайся
К телу Дженни ты своей;
Уст умерших не касайся,
Следуй издали за ней.

Поминутно мертвых носят,
И стенания живых
Боязливо Бога просят
Упокоить души их!

И потом оставь селенье!
Уходи куда-нибудь,
Где б ты мог души мученье
Усладить и отдохнуть!
И когда зараза минет,
Посети мой бедный прах;
А Эдмонда не покинет
Дженни даже в небесах!

Ты, кого я так любила... уходи куда-нибудь... — слова как будто взятые из самой бледной обыденности, но под рукою Пушкина, в художественном контексте, сразу затеплившиеся нежной красотой, — и наименьшая искусственность дала высокое создание искусства.

И вообще, если по своему содержанию и смыслу поэзия Пушкина является, как мы уже сказали, оправданием Творца, оправданием добра, то это ее значение сказывается и в самой форме, в самых звуках его стихотворений. Не только определенные сюжеты и общий строй его песен, но и сами они просто как песни, даже отдельные тона их, ласкающие сердце, уже примиряют с природой и жизнью. Ибо никогда еще русское слово не устраивало себе такого пира, светлого праздника, никогда не достигало оно такого ликования и торжества, как в этом сияющем творчестве, которое претворило в звуки всю благодать и всю красоту мироздания. Как воздать Пушкину за то благозвучие, которым наполняет он души, за тот восторг, который рождает его стихи? Чем отплатить ему за художественное блаженство, которым дарит нас почти каждое слово, каждый эпитет его произведений?..

Признание мира, хвала Богу выражаются у Пушкина именно уже в самых эпитетах его, изумительнее которых нельзя себе ничего представить. Они не изысканы, и он их не придумывает; они просты, как природа, как вся его поэзия; он их как будто незаметно

и беспечно роняет, а между тем в них одних, в глубине этих определений, этих прилагательных, раскрываются законченное мирозерцание и последняя характеристика вселенной, и каждому существу и каждому предмету отводят они как раз его сокровенное значение, его неизменное место в общем строе бытия. Они слово и вещь соединили вечной и необходимой связью, отождествили их; все случайное здесь улетучилось, и каждый эпитет — бездна, каждый эпитет — живая, звучащая философия. Он идет прямо в глубину, он объясняет, и в точности, в необходимости его есть нечто божественное. Ибо назвать предмет — это значит его понять, указать его сродство с другими, и это значит также вдохнуть в него самую жизнь, живую душу, — только названное существует. Надо дать имя миру, и лишь тогда мир будет жить. Припомните великие слова Библии: "Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных и привел к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей". И вот человек дал имена "всем птицам небесным и всем зверям полевым". После Пушкина мир во всяком случае назван.

И эти названия, эти живущие слова, всегда русские, чисто русские, почерпнутые из свежих народных родников, принимают каждый раз особую окраску — даже той чужой страны, чужого склада, которых им приходится касаться. Мы уже видели это в гениальном "Подражании Корану", но это так везде: и в дантовских терцинах, и в протяжном и прекрасном "Талисмане", и в мотивах из Библии, и в песнях славян.

Возьмите, например, отрывок из упомянутого раньше послания к Юсупову:

Так, вихорь дел забыв для нег и лени праздной,
В тиши порфирных бань и мраморных палат
Вельможи римские встречали свой закат.
И к ним издалека то воин, то сенатор,
То консул молодой, то сумрачный диктатор
Являлись день-другой роскошно отдохнуть,
Вздохнуть о пристани и вновь пуститься в путь.

Что же, разве сквозь эти звуки, не заглушая, не искажая их, не слышится и речь латинская? Разве в этих семи строках не показана вся даль античной культуры и психологии, величественной, как римские вельможи? В медленно ниспадающих складках этих дорогих стихов не чуется ли вам торжественный шелест древних тог? И, однако, здесь дано не только местное, ушедшее, исторически ограниченное: кому из утомленных путников жизненной дороги будет чуждо это естественно-человеческое "вздохнуть о пристани"? Или какая общепсихологическая глубина в том, что слову *диктатор* придан эпитет *сумрачный!* Диктатор является к праздному вельможе день-другой роскошно отдохнуть, расправить морщины на своем сумрачном челе, потому что уже невыносимо стало для него это бремя власти и ответственности, какое возложили на его обыкновенные, человеческие плечи. Ему ли не быть сумрачным, когда он один, точно Бог, должен диктовать народу свою волю и встречать не совет и помощь, а только послушание; когда он, как Атлас, держит на себе целый мир миродержавного Рима и жизнь и смерть миллионов людей?..

Или вспомните стихи, которые так сильны, что их можно трепетать как живого существа, — и точно выковал их молот Гефеста:

Когда владыка ассирийский
Народы казнию казнил
И Олоферн весь край азийский
Его деснице покорил, —
Высок смиреньем терпеливым
И крепок верой в Бога сил,
Перед сатрапом горделивым
Израиль выи не склонил.
Во все пределы Иудеи
Проникнул трепет. Иереи
Одели вретисцем алтаря.

Главу покрыв золой и прахом,
Народ завыл, объятый страхом, —
И внял ему Всевышний царь.
Пришел сатрап к ущельям горным
И зрит: их тесные врата
Замком замкнуты непокорным,
Грозой грозится высота.
И, над тесниной торжествуя,
Как муж на страже в тишине,
Стоит, белеясь, Ветилуя
В недостижимой вышине.

Замок — непокорный, им замкнуты тесные врата, грозой грозит высота: все это сильное, еще усиленное аллитерациями, не достигнуто преднамеренно какими-нибудь внешними приемами и не рассчитано на эффект. Царь и властелин слова, Пушкин не является, однако, ювелиром или виртуозом его. Он не играет в звуки. Рифмы с ним запросто живут. Его высокая фонетика только соответствует подъему его вдохновенного чувства. И то, что в его красоту изредка вторгаются стихи бледные или вялые, — это не ослабляет впечатления, а только дополняет тот облик непосредственной простоты, естественности и несовершенной человечности, который так присущ Пушкину и у него так дорог. Великому не прощаешь малого; но у Пушкина это малое звучит как родное, интимно и тепло, и еще более сближает нас с ним, далеким гением.

Сильное, страшное, боевое, как Полтавский бой, или "Стамбул гяуры нынче славят", или грозные картины Кавказа, свойственны его поэзии так же органически, как и мотивы совершенно иные, нежные, тихие и ласковые, как разговор Татьяны с няней, или "Для берегов отчизны дальней", или "Прибежали в избу дети", или это деревенское

Есть место: влево от селенья,
Где жил питомец вдохновенья,
Две сосны корнями срослись;
Под ними струйки извились
Ручья соседственной долины.
Там пахарь любит отдыхать,
И жницы в волны погружать
Приходят звонкие кувшины;
Там у ручья, в тени густой
Поставлен памятник простой.
Под ним (как начинает капать
Весенний дождь на знак полей)

Пастух, плетя свой пестрый лапоть,
Поет про волжских рыбаей;
И горожанка молодая,
В деревне лето провожая,
Когда стремглав верхом она
Несется по полям одна,
Коня пред ним останавливает,
Ременный повод натянув
И флер от шляпы отвернув,
Глазами беглыми читает
Простую надпись — и слеза
Туманит нежные глаза.

Мы подчеркнули живые детали, чудно восполняющие элегическую картину, и возникает чувство благодарности к Пушкину за то, что он все это замечает, видит все эти наши человеческие движения.

Когда он прикасается к родине, когда передает русскую сказку, он находит слова и рифмы, очаровательные в своей наивности, и самая обычность созвучий производит здесь впечатление первобытности и простоты. Вы с какою-то радостью слышите:

В синем небе звезды блещут,
В синем море волны хлещут.

Разве не есть что-то мило-детское в таких стихах, в таких сочетаниях:

Отвечает ветер буйный:
Там за речкой тихоструйной,
Есть *высокая гора*;
В ней *глубокая нора*?

Или:

Ветер, ветер, ты могуч,
Ты гоняешь стаи туч,
Ты волнуешь сине море,
Всюду веешь на просторе,
Не боишься никого,
Кроме Бога одного.

Но безнадежна всякая попытка доказать Пушкина... Надо просто его читать, раскрыть почти на любой странице его книгу, отдаться ей слухом и духом, и тогда

каждый сам почувствует, что даже не в одном содержании величие нашего великого, а в самом течении, в звучащей радости его стихов.

Само естество смотрится в его творения, как в зеркало. Ничего вычурного, красота без украшений, классический стиль природы и строгая чистота линий. Проза его — венец словесной прозрачности. Сама действительность, если бы захотела рассказать о себе, заговорила бы умной прозой Пушкина. Обыкновенно в рассказах других писателей событие отягощается словами, обыкновенно между фактом и поведением его есть какой-то промежуток, в течение которого событие искажается, — у Пушкина этого нет: у него не чувствуешь тяжести слова, и дело не туманится рассказом, остается чисто, неприкосновенно, и каждый раз взято именно столько слов, сколько нужно. Смело и уверенно вьется нить событий, и, если даже они могут прозвести впечатление потрясающее, от вас не требует автор, чтобы вы остановились на них подольше. Вот в "Капитанской дочке" так быстро, слишком быстро для нашей медлительной привычки, но в соответствии с природой, разыгрываются необычные дела и по знаку Пугачева, сидящего на крыльце, одного за другим вешают живых людей. И Пушкин рассказывает об этом без нервности, без всякого расчета на человеческие нервы, рассказывает в том же тоне и таким же складом, как и о других перипетиях своей истории. И действительность сказала б ему, что так и надо, что он прав. В самом деле: может быть, мы напрасно волнуемся, и все эти казни, убийства, кровавый бунт или сцена, когда Миронов на валу благословляет свою дочь, не представляют собой ничего особенного, являются событиями среди событий — ни больше ни меньше других. Все это патетично только для нас, а не само по себе. Не будем же волноваться. Будем как природа, которая не знает нашего мнимого пафоса. Но вместе с тем Пушкин как-то наивно, мило, живо интересуется всяким выдающимся происшествием или походом.

Так владел он этой высокой тайной простоты, так показал он, что истинная поэзия принакает к земле и целует ее, как это делают и выросшие из нее золотые колосья. В перл художества возводил он все естественное и обыкновенное, и тогда в обыденной сфере являлась красота, и деревенская барышня принимала чудный образ Татьяны. Конечно, прав Платон: истина в идеях, а жизнь неверна. Жизнь только приблизительно. И оттого понятно, что многие поэты, воплощая идеи, испытывают соблазн уходить от внешней, мнимой реальности — брезгают ею, украшают ее, идеализируют; они не видят красоты в обмане и конкретности будней. Но Пушкин смело берет жизнь именно в ее приблизительности и этим уменьшает последнюю, т. е. приближает явление к идее, к идеалу (а не наоборот). Так опоэтизирована действительность у Пушкина, что уже невелико осталось расстояние от предмета к идее. Мир пронизан у него красотой насквозь. Его поэзия — оправдание прозы. Он понял, что — одно из двух: либо все — проза, либо все — поэзия. И он принял второе.

И потому несравненная осязательность его произведений открывает к ним доступ для всех, а эти звуки, эта благодатная необходимость и незаменимость его сладких слов невольно рождают культ Пушкина. Хочется Пушкину молиться. Во всяком случае, *homo unius libri*¹ в России можно быть лишь тому, кто читает Пушкина.

Божественное эхо божественного голоса, он в том же стихотворении "Ревет ли зверь в лесу глухом" выразил нежную, беспредельно сочувственную мысль, что эхо сиротливо, что оно все отдает, на все откликается, но само нигде не находит отзыва. Нет ничего более одинокого, чем эхо. И наш поэт в своей личной жизни испытал это в полной мере. Но теперь Пушкин идеальный, Пушкин бессмертный, в заветной лире переживший свой прах, — теперь он не одиноко. Эхо мира, на все ответившее, он ныне сам слышит ответы восхищенного мира, и, пока будет звучать на земле русское слово, до тех пор не отзвучит его поэзия — не только как историческое предание, но и как вечное настоящее. Этому порукой и то, что всечеловечности ее художественного содержания соответствует ее лиризм: он не носит печати узкой субъективности и служит как бы вселенским языком, который понятно и пленительно звучит для всех времен и поколений. И у нас стесняется душа лирическим волнением, когда мы читаем Пушкина. И мы тоже бродим вдоль улиц шумных

¹ Человеком книги (лат.). — Примеч. ред.

и стараемся угадать грядущей смерти годовщину; мы все провожаем кого-нибудь в час незабвенный, в час печальный, и каждому из нас наносит хладный свет неотразимые обиды; на братской переключке и нам не отозвалось много голосов, и наши дни тянулись без божества, без вдохновенья, без слез, без жизни, без любви; и мы, как друга ропот заунывный, слушали призывный шум свободной стихии. И ни от кого не далеки эти "стихи, сочиненные ночью, во время бессонницы", когда ночь спит, а человек бодрствует и слышит "спящей ночи трепетанье", трепетанье этой огромной черной бабочки, и "укоризну или ропот" бесплодно утраченного дня, — ибо ночью пришел день, стал у изголовья, у бессонного изголовья, и немилосердно требует ответа и отчета. "Вновь я посетил тот уголок земли" — это скажет всякий; так в своих стихотворениях рассказал Пушкин свою биографию, что она сделалась биографией общечеловеческой. Перемените имена, отдельные подробности и факты, и это будете вы; расскажите Пушкина, и вы расскажете все.

И оттого Пушкин — самое драгоценное, что есть у России, самое родное и близкое для каждого из нас; и оттого, как заметил один исследователь русской литературы, нам трудно говорить о нем спокойно, объективно, без восторга. Мы вспоминаем эту дорогую кудрявую голову, мы повторяем его стихи, которые И. С. Аксаков назвал благодеянием, и, облагодетельствованные его стихами, истолкованием Божества, бодрее продолжаем свою трудовую дорогу: мы знаем, что в степи мирской, печальной и безбрежной, есть неиссякаемый, животворный источник, где обновляется наше воодушевление и сила жизни, где мы почерпаем все новые и новые возможности мыслить и чувствовать, где нам дается святое причастие красоты. Его стихи лепечут уста детей, и его же стихи, не покидаемые в стенах школы, на обязательных страницах хрестоматий, текут вослед за нами в продолжение всей нашей жизни и, "ручь любви", навсегда вливаются в наши взрослые души. И так проходят годы, десятилетия, прошло столетие со дня его рождения и еще новые десятилетия, а сам он не проходит. Великий и желанный спутник, вечный современник, он идет с нами от нашего детства и до нашей старости, он всегда около нас, он всегда откликается на зов нашего сердца, жаждущего прекрасных откровений. Какое счастье!..